

ЮБИЛЕЙ

«Гармонии таинственная власть...»

К 200-летию со дня рождения Евгения Баратынского.

Нам только кажется, что все образованные люди знают Баратынского. Слышали имя? Безусловно. Но начните вслух читать что-нибудь из него, ну хотя бы «Люблю я вас, богини пеня...» или «Своенравное прозвание...», пожмут плечами, станут гадать, Баратынского назовут в последнюю очередь. И нечего делать вид, что не так. Он и сам для этого немало постарался: «глаголом жечь сердца людей» не входило в его поэтическую задачу; ему принадлежит совсем иное утверждение. «Но не найдет отзыва тот глагол, Что страстное земное перешел...».

Начинали Пушкин и Баратынский одновременно и поначалу шли в одном направлении. Не перечить всех совпадений, перекличек, взаимных заимствований. Но очень скоро «пушкинская» манера молодого Баратынского была оставлена им, и не только потому, что Пушкин с его неотразимой яркостью и энергией затмевал товарища по перу, но еще и потому, что в Баратынском таились иные возможности.

Вот поэт, побивший все рекорды мрачности, — не романтической, той, что вменялась в обязанность литературной модой, а подлинной, выстраданной, неподдельной. «Заблуждений земли Мне забвенье пошли», — просил он в шестистрочной своей «Молитве», и этих «заблуждений» ему всю жизнь не хватало. То, что сделаю сейчас, ни на что не похоже: выпишу подряд, в подтверждение сказанному, строки из стихов Баратынского, не смущаясь количеством примеров, — качество их таково, что, мне кажется, не может не взволновать читателя, заодно кое-что объяснив ему в этом поэте.

«Все мнится, счастлив я ошибкой, и не к лицу веселье мне...» (1820), «И я, певец утех, пою утрату их...», «Но что же? вне себя я тщетно жить хотел: вино и Вакха мы хвалили, но я безрадостно с друзьями радость пел: восторги их мне чужды были...» Перечитаем, не торопясь, эту строфу, как это сказано! «Вне себя я тщетно жить хотел» — это не наше «вне себя» от гнева или возмущения — совсем, совсем иное... Измени себе, стараясь подладиться под других, будь как все... Он и хотел бы, да не получалось. Карамзин, Батюшков, Парни... но сквозь все сентиментальные и вакхические напевы у него, двадцатилетнего, уже прорывалась его собственная, «душемутительная», глубокая, мрачная нота.

Один, и пасмурный душою,
Я пред окном сидел.

Даже водопад у него ревет на этой ноте: «Соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины!» И тут же, в соседнем стихотворении, точно так же ведет себя море — не Черное, пушкинское, спешащее «с любовью лечь к ее ногам», а холодное, северное, такое же, как «безжизненная весна», и он его не рисует, не видит — только слышит. «И моря рев, и все питает Безумье мрачных дум».

И с любовью, и, кажется ему, даже с поэзией дела обстоят так же неутешительно: «Я не хочу притворным испуганьем обманывать ни юных дев, ни муз; а это знают все: «Не испушай меня без нужды...», «Не ослеплен я музою моею...»

«Безумны ты и все твои желанья...», «Я бытия все прелести разрушу, Но ум наставлю твой...»

Надо бы остановиться, поставить многоточие. Я сейчас так и сделаю, только приведу еще несколько самых дорогих для меня стихов: «Смерть дщери тьмы не назову я...», «Опять, ког-



да умру, повеселею я», — когда умру, и никак не раньше! «Скучая тягостной неволей бытия... гляжу с отрадою на близкую могилу, приветствую ее, покой ее люблю, и цепи отряхнуть я сам себя молю...», «К чему невольнику мечтания свободы?», «На что вы, дни! Юдольный мир явленья Свои не изменит! Все ведомы, и только повторенья Грядущее сулит...» Все-таки я недаром сказал о «рекоре мрачности», поставленном им.

Не потому ли его и не услышали при жизни? И после смерти тоже: кому же хочется вместо утешений услышать «смертный стон!» («Один с тоской, которой смертный стон Едва твоей гордыней задушен»). Кому хочется? Мне. И всем тем, кто не мог бы жить без этой необходимой, скорбной, трагической поправки к «солнцу нашей поэзии». Один и в самых горьких обстоятельствах сказал: «Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, И может быть — на мой закат печальный Блеснет любовь улыбкою прощальной»; другой не надеялся на живой отклик: «Но не найдет отзыва тот глагол, Что страстное земное перешел». Но именно этот переход за «страстное земное» помогает нам в бессолнечные дни, беззвездные ночи.

Чем дальше, тем решительней шел он по своему одинокому пути, сквозь «видения земли» различая «цветущий брег за мглою черной». Такие понятия, как образность, метафоричность поэтического языка, не работают применительно к его поэтике. С ними происходит нечто странное, как если бы мы хотели воспользоваться имеющимися у нас под рукой привычными инструментами: маленькой отверткой, пинцетом и т.д., но все они, оказывается, слишком топорны и велики для этого тончайшего механизма. Только и механизмом это назвать нельзя, — другая, «сладостно-туманная», особая, не вещная, а развоплощенная, духовная субстанция. Но после нее привычные, предметные, в том числе самые изощренные поэтические средства, которые мы так любим, кажутся едва ли не примитивными. «Ощупай возмущенный мрак... И заблужденье чувств твой ужас улыбнется...» — так сказать мог только он. Улыбающийся ужас — ведь это воистину ни на что не похоже! А вот еще поэт, «сын фантазии», назван у него гостем «на пире неосознанных властей». Воистину, говоря о его стихе, мы тоже имеем дело с «неосознанными» величинами, «касаемся крочь-

ями малых, как легкая смерть, величин», как сказал бы другой, поздний поэт, учившийся у него в ХХ веке.

«Он у нас оригинален, ибо мыслит», — писал о нем Пушкин. К этому добавим, что мысль Баратынского не навязывалась стихам со стороны, как у его друзей-любомудров, перетаскивавших в поэзию идеи из немецкой философии, но выростала исподволь, вместе со стихами, — она растворена в поэтической ткани и как бы является продуктом ее жизнедеятельности, непредсказуема и пропущена через трагический опыт.

Поражает отчаяние и отчаянная смелость Баратынского, его готовность призвать Всевышнего к ответу. «Там, за могильным рубежом, сияет день незаходимый, и оправдается Незримый пред нашим сердцем и умом», — сказано у него в одном из стихотворений. Недавно мне попало за это утверждение от одного критика-христианина, назвавшего его скандальным: «Всякий абсолютно посторонний церковной практике человек смекнул бы, исходя лишь из одного контекста, что у слова «оправдается» в этом случае особая коннотация, далекая от юридической нагрузки и от всякого притягивания к ответственности». Не знаю, откуда критик взял, что я имею в виду юриспруденцию.

Но Баратынский решал проблему теодисеи не как философ — как поэт — и одним из оправданий Творца считал, например, существование поэзии в этом мире, в частности, поэзии Гете. И не я, а Баратынский употребил это слово «оправдается», и не в одном, а в двух стихотворениях. Вот этот второй пример: «Творца оправдает могила его», то есть. Творца оправдает могила Гете, сам факт его жизни, его поэзии.

Некоторые наши критики вменяют поэту в обязанность выдержанную в ортодоксальном духе религиозную идеологию и фактически предъявляют претензии не сегодняшнему автору, а через его голову — Баратынскому, Пушкину... А те уже достаточно натерпелись от церковной цензуры при своей жизни. Приведу лишь один пример: последний блистательный стих из «Недоноска» Баратынского — «В тягость роскошь мне твоя, о бессмысленная

вечность» в его книге «Сумерки» был изменен: «В тягость роскошь мне твоя, в тягость твой простор, о вечность!» Можно представить, как поэт вынужден был исправлять строку (если только он сам это делал) и не нашел ничего равного единственно возможному варианту, и согласился на первые попавшиеся под руку случайные слова, и махнул рукой...

Есть поэты с «биографией» (Пушкин, Лермонтов, Маяковский) и поэты без «биографии» (Тютчев, Фет, Анненский). Баратынский относится к последним, к тем, кто рассчитывает только на стихи, — его жизнь погружена в глубокую тень, и «доставать» его оттуда — значит поступать против его воли. А хотелось бы поговорить о его сознательном и добровольном заточении в деревенской глуши после крушения восстания в Петербурге, о поисках счастья в частной жизни («Привел под сень твою святую я соучастницу в мольбах — мою супругу молодую с младенцем тихим на руках...»), о невозможности счастья. «Обитель дальняя трудов и чистых нег», которую обрел Баратынский и о которой мечтал Пушкин в тридцатые годы, когда в ней живешь постоянно, а не наездами, как Пушкин, превращается в ловушку, жизнь обрывает хозяйственными заботами, а стихи не пишутся. «В этот момент я далек от поэтического вдохновения», — писал Баратынский матери из Муранова. Пушкин и Баратынский почти одновременно и как будто нарочно, нам в поучение, продемонстрировали, исходя из своего темперамента, два противоположных варианта устройства личной судьбы, и выяснилось, что оба они трагичны в трагическую эпоху.

Получив известие о смерти Дельвига, Пушкин пишет из Москвы в Петербург Плетневу: «Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног

сов утра с повторным визитом, застал мертвым ее мужа. Тут есть какая-то загадка. Но останавливаться на этих печальных подробностях было бы, уж точно, вмешательством в чужую жизнь, не случайно скрытую от нас.

Лучше я возьму с полки тоненькую, в зеленоватой потертой обложке книгу поэта, изданную в 1842 году в Москве, в типографии А. Семена, при Императорской медико-хирургической академии, с плохо прорисованными, какими-то виноватыми виньетками, мало чем отличающуюся от нынешних книг, издаваемых за свой счет, — «Сумерки». Сочинение Евгения Баратынского». Стихи в ней напечатаны плохо, шестистишие «Ропот», например, умудрилось разместиться на двух страницах и «Новинское», состоящее из восьми строк, тоже почему-то заняло две страницы, и то же самое случилось с «Алкивиадом» — редактора не было, что ли? И стихи испорчены цензурой («Рифма» вообще искажена до неузнаваемости). И все равно, нет для меня в моем книжном шкафу ничего дороже этой книги.

О, как у нас в России любят поэтов, какие похороны, все простив, устраивают им... Пушкину, Некрасову, Блоку, Маяковскому, Пастернаку... Баратынского, умершего в Италии, похоронили через год в Петербурге, в Александро-Невской лавре. Кроме родных, присутствовали три литератора: Вяземский, В. Одоевский и В. Соллогуб...

Зима идет, и тощая земля
В широких лысынах бессильна...

Безошибочно мы узнаем сосредоточенную, угрюмую, «баратынскую» интонацию: с первого стиха и на все строфы его «Осени», его «Недоноска», его «Последнего поэта» разливается это органное звучание. Да, мрачные, безысходные стихи — почему же они доставляют такое утешение, такое счастье? Ответил на этот вопрос сам поэт: «гармонии таинственная власть» — вот объяснение.

Что такое стихи? Это разговор человека с самим собой — перед лицом «высших сил». Это сегодняшняя наша молитва. Наверное, так когда-то звучали псалмы царя Давида: смысл высказывания был подержан, выступая заодно с фонетической, музыкальной материей стиха.

Для нас, по прошествии тысяч лет, да еще читающих псалмы в переводе, та мощь невосстановима, мы имеем дело с великолепными руинами. Но кто сказал, что и сегодня человек не ведет ежедневную борьбу за вечные смыслы с помощью новых слов? Эту борьбу и осуществляет поэзия на родном языке. И вовсе или почти неважно, о чем говорят стихи: о прелести жизни или ее ужасе, о «холмах Грузии» и печали, которая «светла», или о том, как равнодушно внимает «ухо мира» вою «гибнущей звезде».

«Рифма» — так называется последнее стихотворение в книге «Сумерки», последнее не случайно: на нее — вся надежда, она их высвечивает, она и есть тот луч, который не позволяет сумеркам превратиться в ночь.

Свою ласкою поэта
Ты, рифма! Радуеть одна.
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного берега
Живую ветвь приносишь ты:
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты!

Александр КУШНЕР

СТИХОТВОРЕНИЯ
ЕВГЕНИЯ БАРАТЫНСКОГО.



Сжара
Самовластие твое
Упало в руки ничь и вновь
И вижу вновь родные стены
Своей наглой и злобной
Спи снова неба своего желаньем
Сметено вайдура вешу
На вай и вай мои вайканья
Османовские вайканья
свалить».

Баратынский мягче, чувствительней, Пушкин — мужественней и сильней.

Баратынскому и его стихам свойственно особое душевное благородство: нет в его поэзии скабрзностей, непристойностей, пошлых сюжетов, которые встречаются даже у Пушкина («Царь Никита и сорок его дочерей», «К кастрату раз пришел скрипач...» и др.), даже у Лермонтова (юношеские поэмы), всего того, что неприятно удивило Мицкевича в нравах русских молодых людей, способных в беседе делиться друг с другом интимными подробностями любовных походов.

Короче говоря, ни в нем, ни в его стихах не было и тени варварства. А еще хотелось бы сказать о доверчивости и мнительности, о дружбе и охлаждении, о любви и ее обременительности, наконец, о внезапной и странной смерти в благословенной Италии: врач посетил накануне заболевшую (первый припадок) Настасию Львовну, а придя назавтра в семь ча-